

Константин Паустовский Мещорская сторона

Обыкновенная земля

В Мещорском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен – так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещорском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

В Мещорском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко.

почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещорском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.

Что можно услышать в Мещорском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам – разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере – с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещорского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещорские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь.

Первое знакомство

Впервые я попал в Мещорский край с севера, из Владимира.

За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхающегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.

Пассажиры с вещами сидели на площадках – вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами

выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплеывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Менторских лесах – самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство'

– Чуть что, сейчас берут меня за бороду – ездай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советское правительство собирает карточки, преискурранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.

– Чего брешешь?

– Ты гляди – вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.

– Манька, прочти, – сказала баба девчонке, тершейся носом об окно. Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

– «Собчаётся, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели, – надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».

– Вот, – сказал дед горестно, – за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва – страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озеро. Хозяничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

– Вот оно существование наше, – повторял дед – Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!

– Чего в летошний год нашли? – спросила баба.

– Торчак!

– Чегой-то?

– Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги – с этот вагон. Прямо страсть. Копали его целый месяц. Вконец измучился народ.

– На кой он сдался? – спросила баба.

– Ребят по ём будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:

«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с Мещорой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладях, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

Старинная карта

С большим трудом я достал карту Мещорского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года». Карту эту мне пришлось

исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.

Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

– Ты, милый человек, – кричит местный житель, – других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная – через мшары до самого озера.

– А сколько километров?

– А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот.

Несколько слов о приметах

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их – очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом – каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах – это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, о криком птиц и яркостью звездного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета – это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней

погоды.

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

Это все очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

Возвращение к карте

Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещорского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты – уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустыки.

На карте Мещорского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу – давно обжитые, населенные рязанские земля. Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была

видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля – земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещорские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещорского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озер одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном – семнадцать метров.

Мшары

К востоку от Боровых озер лежат громадные мещорские болота – «мшары» или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера – «материк» – с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, – бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На

Поганое озеро бабы ходить опасались – около него были какие-то «зеленущие трясины».

– Как ступишь ногой, – рассказывали бабы, – так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти – сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет – враз сомлеет.

– Отчего сомлеет?

– От страха. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бязим от него, бязим до первого острова, там только и отдохнимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок – сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезть через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещорском крае колками.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели – меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками.

– Это его тропа на водопой, – сказал Гайдар...

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.

Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились – Гайдар не мог не найти дорогу обратно.

Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым, медленно напозла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как

в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по несколько суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах – самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись – огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» – огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары – туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер – быстро темнело, – и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закричал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико – откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крикнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ – тот, что ушел с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал кричать – подражать автомобилю.

До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.

– Почему? – спросили мы его.

– Очень страшное озеро, – ответил он – Ну его к черту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а пошли мшарами в сторону «материка» – лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещорские болота – мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо закончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие – не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было

нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить.

Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все.

– Вовсе отчаянные мужчины, – говорили они нараспев, – Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

Лесные реки и каналы

Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зеленой тусклой краской), о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках – Солотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча – извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут «суровой». На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течет из озер северной Мещоры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек в Мещорском крае много каналов.

Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить мещорские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещору была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться – она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещоре множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весной, можно пробираться в легком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль – споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели – к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещоры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещоры – это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещоры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

Леса

Мещора – остаток лесного океана. Мещорские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещорском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорожному ковру, – на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны. В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они поднимаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолетов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца.

Леса в Мещоре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах – это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие масляки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осинового листа, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах – звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду, – ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричи г выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко – кажется, за краем земли – хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом – боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как подымается огромное белое солнце – солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по несколько дней. Наши руки пахнут дымом и брусничкой – этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок – ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тьяканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная.

В Мещоре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли – от их отражения в воде.

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене – желтоватая, в Великом озере – оловянного цвета, а в озерах за Прой – чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.

Но большинство озер все же – черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что

дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озер – чем старше торф, тем темнее вода.

Я упомянул о мещорских челнах. Они похожи на полинезийские пироги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким протокам.

Луга

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга,

В сумерки луга похожи на море. Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плес на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег, – травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром – это голубой туман, днем – белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, Донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками-подлистниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них – это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже самый опытный глаз старика колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго – на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах

выпь – луна подымается в настороженной тишине. Она появляется как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив... И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное, – все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго, мерно – двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно: кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо – узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета.

С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются темными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки – на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск – это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом – щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведенным на Прорве, целиком относятся слова Аксакова:

«На зеленом цветущем берегу, над темной глубиной реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

Небольшое отступление от темы

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче, около Прорвы, было взволнованно. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной – искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздохнул и жаловался:

– Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре

старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливых. У счастливых рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы – завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о Плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю – клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Итак, старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блесен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

– Виноват! – сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шел и, спотыкаясь о травы, повторял:

– Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах «жундели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перьяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

– Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами криканье, топот, сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

– Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд в ней было не меньше пуда.

– Тащите ее подальше от воды! – крикнул я.

Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

– Здорово похожа на крокодила! – сказал Ленька.

Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

– Голубушка! – воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по Щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.

– Увы! – крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом:

– Ага! Получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

Еще о лугах

В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и, наконец, Лангобардское.

На дне Хотца лежат черные мореные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровкѣ некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелесперы. Промоина – глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык – озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника.

На Старице по берегам – песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток.

Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безымянное озеро. Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа – «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским.

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, гентианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника.

Старики

В лугах – в землянках и шалашах – живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалашах около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать,

кто мы такие, после него – несколько неопределенных слов о погоде («заладили дожди» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь»). И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке, французской пище («из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудовней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях».

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

– Возится этот дождь, как дитё, – сказал Степан. – Чисто ребенок – то тут шелохнет, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом.

– Вот, приبلудилась дурочка из Заборья! – сказал ласково дед. – Телку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огопь к деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке:

– Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала. Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку.

– Вот, милые вы мои, – сказал дед, закуривая, – бродите вы, как нанятые, по лугам, по озерам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга, и озера, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай на сто верст, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой.

– А за что им такие леса были дадены, дедушка? – спросила девочка.

– А пес их знает за что! Бабы-дуры говорили – за святость. Грехи они наши замаливали перед матерью божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас почитай никаких и не было. Эх, темнота, темнота!

Дед вздохнул.

– Ходил и я по церквам, был грех, – пробормотал смущенно дед. – Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба.

– Житьишко наше было плохое, – сказал он, сокрушаясь. – Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда – мужик, по крайности, к водке прибьется, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчет червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

– Ужаси! – тихо сказала девочка.

– А ты не пужайся, – сказал дед. – У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ране народ думал – живет оно, счастье, на теплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке, – дед постучал корявым пальцем по лбу. – Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночасье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось. Что ни день – у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает!

– Откуль? – спросила девочка.

– Из Москвы. Она в театре поет. Кто слышал, говорят – райское пение. Прямо плачет

навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу, схватило меня за сердце, а чего – не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она у нас, мужиков, от нашей дурусти тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послушаешь, тут поглядишь, и умирать вроде все как будто рано и рано – никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.

– Жить бы нам и жить, Егорыч, – сказал он из шалаша. – Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящими глазами и думала о чем-то о своем.

Родина талантов

На краю Мещорских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали вековухой – весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей.

В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал – в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на Меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

– Чей это дом? – спросил я вековуху.

– Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха – его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравер Пожалостин – один из лучших русских граверов, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии и вдруг – Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заговорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет.

Пожалостин – бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина – все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал? Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы были когда-то знаменитыми богомазами.

Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку – на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко: дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала

очки на лоб и прислушивалась – стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры – портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко.

Солотчинская округа – страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в поневе – принесла продавать сметану.

– Ежели тебе еще сметана потребуется, – сказала она ласково, – так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

– Есенин Сергей не твой родственник?

– Поет? – спросила бабка.

– Да, поэт.

– Племянничек мой, – вздохнула бабка и вытерла рот концом платка. – Был он поэт хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно – лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось у него упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового – радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес – никак не хочет умирать.

– Как его ни корми, все равно тощает, – говорит Кузьма. – Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает – господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын – еще совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Как-то летом Миша привез домой старую скрипку без струн – купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке, – осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву – показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел.

– Если окажется ценной, – сказал он мне, – подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня, – учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася еще учится в школе. На озере школы нет – там всего четыре избы, – и Васе приходится бегать в школу через лес, за семь километров.

Вася – знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из

коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают Мещору. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте, – писал Вася. – Отпишите, что делать с вашими крахами и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому что уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей – охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой – смотришь – и сидит заяц! Остаюсь Вася Зотов».

Мой дом

Маленький дом, где я живу в Мещоре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшита серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол – западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюся с ловли, коты всех мастей – рыжие, черные, серые и белые с подпалинами – берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой – он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они подымаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглой столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится

на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем – нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха – он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди – пустынный сентябрьский день. Впереди – затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

Бескорыстие

Можно еще много написать о Мещорском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещорский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд – это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, – этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

1939